

НЕБЛАГОВОННЫЙ АНЕКДОТ о Г. ЮРКЕВИЧЕ, ИЛИ ИСКАНИЕ РОЗЫ БЕЗ ШИПОВ

Недавно московские газеты оповестили о необыкновенном происшествии, случившемся в столичном городе Москве. Героем происшествия был г. профессор философии Юркевич, жертвою его — неизвестный материалист. Известно, что нынешним постом г. Юркевич предположил себе прочесть московской публике популярный курс философии; известно также, что в этих лекциях он преимущественно казнит материалистов и приводит в неописанный восторг всех прихожан Николы Явленного, Спиридония, Старого Вознесения и т. д. Причину этих восторгов разъяснить совсем не трудно. Нынче в Москве вовсе нет хороших певчих, да нет интересных служителей, как прежде бывало, что иное слово проглотит, а другое протянет, или выйдет к народу и в то же время обращается к дамам посредством французского диалекта; следовательно, прежние увеселения сделались скучными. Все это заменил теперь отчасти г. Юркевич своими философскими лекциями, отчасти г. Лонгинов своими представлениями чревовещания и восточной магии в Обществе любителей русской словесности⁷⁰: понятно, что все это должно казаться московской публике *charmant*⁷¹, хотя некоторые старики и толкуют себе втихомолку, что у Семиона Столпника все-таки не в пример благолепнее бывало. Несмотря, однако ж, на общее увлечение лекциями г. Юркевича, нашлись и недовольные ими. Московские газеты удостоверяют, что эти недовольные суть те самые материалисты, которых г. Юркевич, на живописном и несколько простодушном своем языке, называет «безголовыми»; я же с своей стороны подозреваю, что это чуть ли не те вздыхающие о Семионе Столпнике старички, которые на сей раз переделались материалистами. Как бы то ни было, но один из этих «безголовых» баловников писал к

г. Юркевичу письмо, в котором угрожал ему, если он будет продолжать нападки на Бюхнера, подвергнуть его освистанию.

Так рассказывают об этом деле М. Н. Лонгинов и И. С. Аксаков⁷². В публике по прочтении их статей остается впечатление, что г. Юркевич — нечто вроде русского Наполеона III, учреждающего государственный наряд, а неизвестный материалист (или старичок, переодевшийся материалистом) — нечто вроде Орсини, государственный наряд ниспровергающего⁷³.

Но не так передает дело какой-то москвич, написавший об этом происшествии статью в «Очерках», блаженной памяти. Он говорит, что 9 марта г. Юркевич, взойдя на кафедру, объявил⁷⁴, что хотел было читать о чувствах, но на днях получил несколько анонимных писем, на которых считает не лишним остановиться. Отрывки из одного письма он действительно прочитал тут же, а из отрывков этих явствовало, что неизвестный не удовлетворен доказательствами профессора против материализма; что профессор не был в состоянии, например, объяснить, почему имеющие поврежденный мозг не мыслят и почему в то же время новорожденные дети, одаренные мозгом, также не могут, однако ж, мыслить. В заключение неизвестный выражал надежду, что г. Юркевич прекратит чтение своих лекций, так как, при подобной слабости доказательств, он может возбудить неудовольствие слушателей, которое, пожалуй, выразится и свистками. Через несколько времени

неизвестный напечатал свое письмо к г. Юркевичу; содержание письма действительно согласно с показаниями статьи в «Очерках». В письме говорилось г. Юркевичу: «в

ваших лекциях много лжетолкований и нелепостей, для опровержения коих нужно столько же лекций. Чем можете вы оправдать хоть сколько-нибудь ваши цинические отзывы о материалистах? Ничем. Если и материалисты ошибаются, то и вы несвободны от ошибок. Потому имею честь предупредить вас, м. г., если в следующих лекциях вы не оставите цинизм, не будете с достоинством относиться к материалистам, то услышите уже не шиканье, а свистки».

Понятно, что это письмо должно было огорчить г. Юркевича, и вопрос заключается только в том, как должно было выразиться у него это огорчение. Если б он заплакал — он показал бы себя чувствительным человеком, но не философом; если б он принялся опровергать «неизвестного» — он выказал бы недостаток душевной стойкости, которая именно в том и состоит, чтобы оставлять возражения без ответа; если б он вздумал издеваться над анонимным письмом — он опять-таки показал бы себя свистуном, но не философом. Одним словом, г. Юркевичу необходимо было поступить как философу — он так и поступил. То есть он повторил публике зады, а того, почему люди, имеющие поврежденный мозг, не мыслят, а только ругаются, все-таки не доказал и, в досаде на самого себя, назвал Бюхнера глупцом... И затем, продолжает корреспондент «Очерков», свернув читанное им письмо и кладя его в карман, он с улыбкою прибавил, обращаясь к публике: «А из письма этого я вправе сделать такое употребление, какое найду пригодным». Эти слова, прибавляет корреспондент, сказанные в присутствии почти полной аудитории, в которой находилось более 1/3 дам и девиц, к удивлению нашему, получили одобрения: посыпались аплодисменты, и увы! аплодировал усердным образом даже редактор одной почтенной газеты московской⁷⁵.

**Есть речи — значенье⁷⁶
Темно иль ничтожно,
Но им без волненья
Внимать невозможно...**

Таким именно значеньем полна приведенная вами речь г. профессора. Для разъяснения этих таинственных слов необходимо было бы знать, на каком языке, на «языке ли физиологов или психологов» произнес г. Юркевич эти слова и потом сделал ли он, произнося их, какой-нибудь соответственный жест, т. е. приблизил ли руку к желудку (в знак того, что страдает чревным недугом), или откинул ее как-нибудь назад. Корреспондент «Очерков» об этом умалчивает, но, вероятно, мы скоро будем свидетелями страстной и оживленной полемики по этому предмету. «Наше время» будет доказывать, что сделал («Наше время» эти жесты любит) и, следовательно, произнес слова на языке физиологов; «День» будет ссылаться на очевидца, что не сделал («День» целомудрен) и что слова сказаны на языке психологов; «Московские ведомости» будут колебаться между целомудрием и тайною мыслью: «а ведь хорошо, что он это сделал!»; «Русский вестник» будет убеждать, что ничего в том необыкновенного нет, что сделал, что это вообще жест, свойственный всякому философу, и что слова сказаны на языке физиологов и психологов вместе.

Я, признаюсь заранее, держу в этом случае сторону того мнения, которое имеет выразить «Наше время». Во-первых, в таком деле нет судьи более компетентного, как этот почтенный журнал, а во-вторых, мне прежде всего представляется вопрос: если бы г. Юркевич не делал жеста

и говорил на языке психологов, то с какой же стати московская публика осыпала бы его такими восторженными рукоплесканиями? с какой стати дамы, даже дамы приняли бы участие в этом спиритуалистическом торжестве?*

Что московские дамы впечатлительны, в этом я имел случай убедиться лично, присутствуя на одной из лекций г. Юркевича, которую он посвятил толкованию снов. Покуда он объяснял, что «сознание, в этом разе, носится на волнах душевного настроения», дамы только благоговели, но когда он, в подкрепление этого ношения на волнах душевного настроения, стал говорить, что если видишь во сне воду, то это значит, что тебя душит мокрота, а если видишь во сне пожар, то это значит, что у тебя где-нибудь воспаление, — лица дам заметно оживились (значит, чувствуют!). И еще более оживления заметно было, когда профессор, в доказательство силы, какую может иметь воображение, привел, что слабая девица, которая обыкновенно не может пройти и полуверсты, чтобы не изнемочь от усталости, на балу незаметно в один вечер вытанцовывает несколько немецких миль. Слушая это, девицы даже с изумлением переглянулись между собою «*ta chere!*»**, и по всей аудитории пронеслась какая-то невинная, легкая веселость...

Следовательно, если и дамы участвовали в рукоплесканиях, то нет сомнения, что было что-нибудь образное.

Но того, что однажды уже совершилось, никак нельзя сделать несовершившимся, — это афоризм, которого не отвергнул бы даже Кузьма Прутков. С грацией ли

* Чего смотрел И. С. Аксаков, постоянно посещающий лекции г. Юркевича? как допускал он почтенного профессора до такого странного жеста? Чего смотрел И. С. Аксаков?⁷⁷ Как допустил он, что в числе рукоплещущих был и какой-то «редактор одной почтенной московской газеты»? Чего смотрел И. С. Аксаков?

** мой дорогой! (франц.). — Ред.

совершил свой подвиг г. Юркевич или без грации (я думаю, что с грацией), жестоко ли он поразил им материалистов или не жестоко (я думаю, что не жестоко) — это не может быть предметом настоящей статьи, во-первых, потому что это личное дело г. Юркевича, а во-вторых, потому «Свисток» вообще не занимается поступками, от которых пахнет. «Свисток», как известно, имеет слабость везде отыскивать «вопросы» и, отыскавши таковые, неумолимо предаваться разработке их.

На этот раз вопрос заключается в том, имел ли г. Юркевич право и основание поступить так, как он поступил?

Мне кажется, что для разрешения этого вопроса вовсе нет надобности прибегать к пространным толкованиям ни о разумно свободной человеческой воле, ни о самодеятельности человеческой души. Поступком своим г. Юркевич блистательно опроверг самого себя и раз навсегда доказал, что во время совершения его душа его положительно бездействовала. Душа человеческая есть нечто тонкое, эфирное и притом действующее независимо даже от повреждения мозга, а тем более от повреждений желудочных. Душа мыслит,

295

но мыслит, так сказать, мысли возвышенные, а не такие, которые могут засорять желудок. Душа требовала, чтобы г. Юркевич доказал, почему она мыслит независимо от повреждения мозга, желудок, напротив того, требовал доказать, почему он мыслит независимо от душевного повреждения. Победителем остался желудок, и что же можно сказать, чем разрешить эту странную прю? Можно только сказать словами самого г. Юркевича, что «в этом

разе сознание его носилось на волнах не столько душевного, сколько желудочного настроения».

Следовательно, не здесь, не в свободно разумной воле, не в самодеятельности человеческой души нужно искать разьяснения загадки... Человеческая душа ничего подобного измыслить не может.

Этого разьяснения следует искать в чрезвычайной исправности профессорских нервов, передающих желудку получаемые ими внешние ощущения. Откуда, в этом разе, получают нервы ощущения? от внимающей профессору публики. Какое, в этом разе, должно быть произведено в желудке впечатление вследствие переданных нервами ощущений? впечатление о степени развития внимающей профессору публики, развития, выражающегося отчасти в благоговении, а отчасти в сонливости, когда идет речь о ношении сознания на волнах душевного настроения, и в легкой веселости, когда дело касается девицы, протанцевавшей в один вечер несколько немецких миль. Профессор, в этом разе, есть не что иное, как зеркало внимающей ему публики, и сознание его носится на волнах не собственного его профессорского душевного настроения, а на волнах душевного настроения публики.

С своей стороны, ту же самую исправность нервной системы примечаем мы и в публике. Ее нервы получают ощущения от говорящего перед нею профессора, и, передавая эти ощущения куда следует, производят там впечатление о нравственном образе того же говорящего перед нею профессора. Стало быть, публика, в этом разе, представляет собой некоторое духовное зеркало, в котором глядится сам профессор, и сознание ее носится не столько на волнах собственного ее душевного настроения, сколько на волнах душевного настроения г. профессора.

Многие, быть может, заметят мне, что у меня «духовное настроение» перемешивается с «настроением желудочным»

и что я этим самым доказываю, что не усвоил еще себе истинной философской терминологии. Но я уверен, что, размысливши хорошенько, читатели сами найдут, что в этом деле строгое различие самодеятельности желудка от самодеятельности души не только затруднительно, но даже просто невозможно. Нет сомнения, что в основании всей кутерьмы лежит самодеятельность желудка, но все-таки как-то кажется, будто и душа тут не прочь поучаствовать. Может быть, это от того мне кажется, что я еще не отвык от предрассудков, что настоящая философская терминология еще недостаточно выработалась, но как-то легче становится на душе, когда это слово лишний раз скажешь.

И, таким образом, публика и профессор, получая друг от друга ощущения и впечатления, находятся, так сказать, в непрерывном взаимном соответствии. Профессор сделает усилие — публика рукоплещет ему; вследствие этого профессор усугубит усилие, а публика, разумеется, усугубит рукоплескания. Сочувствие публики поднимает уровень душевного настроения

296

профессора и наоборот. Тут публика равна профессору, профессор равен публике, нуль равен нулю...

Если б г. Юркевич был спиритуалистом действительным, он не толковал бы снов посредством накопления мокрот, он не изъясил бы из сферы душевной самодеятельности целой области снов, области, в которой этой самодеятельности представляется наиболее простора и независимости; наконец, он не казал бы, что сделает из бумажки, на которой написано возражение его антагониста, известное ему употребление. Если он все это допускает, то этим самым доказывает, что он материалист, и притом

материалист весьма дешевого свойства, материалист вроде тех, которые наивно полагают, что материализм заключается в обжорстве, половых отправлениях и в приготовлениях к тому процессу, о котором он так остроумно намекнул в своей лекции.

С другой стороны, если б перед г. Юркевичем была другая публика, менее зараженная материализмом дешевым, то она не поощрила бы профессора. Не найдя сочувствия своей выходке, профессор, конечно, только пискнул бы и покраснел. Быть может, он принялся бы за возражения своего противника, быть может, он и доказал бы их опрометчивость, ибо кто же знает, какая мысль носится у г. Юркевича на волнах душевного настроения? А теперь вот сложил бумажку да и думает, что вконец поразил своего противника!

Увы! тут все правы! прав г. Юркевич, ищущий популярности посредством складыванья бумажки, и права публика, поощряющая такие искания популярности посредством складыванья бумажки. Прав даже редактор «одной почтенной московской газеты», принимающий участие в рукоплесканиях. Все они из своего мирозерцания не вынесли ничего иного, кроме хладного озлобления, все они еще насквозь пропитаны тем страшным потом ненависти, который, будучи неопрятным сам по себе, заражает тою же неопрятностью и все то, до чего он хотя случайно прикоснется...

Впрочем, «Свисток» обратил внимание на историю, случившуюся с г. Юркевичем, еще и потому, что в этой истории замешан свист, насчет которого существует в нашем обществе много самых нелепых предрассудков. Один из таких предрассудков высказался по поводу истории с г. Юркевичем, и «Свисток» считает себя обязанным разъяснить и доказать нелепость этого предрассудка.

Всякий человек, начиная от самого глубокомысленного философа и оканчивая самым легкомысленным фельетонистом, стремится к благу и блаженству, к достижению того, что на философском языке называется высшими удовольствиями жизни, а на языке поэтическом — цветами и розою жизни. Поэтому нет ничего удивительного и предосудительного в том, что и г. Юркевич обнаружил такое же стремление. Для человека мыслящего высокое удовольствие заключается в проповеди и распространении своих идей. Это удовольствие доставил себе и г. Юркевич, устроивши свои публичные лекции. Ничего не может быть отраднее для человека той минуты, когда он занимается поражением своего противника на публичной арене, в виду многочисленного сонма зрителей; и такой отрады вкусил г. Юркевич, поражая своих противников на публичных лекциях. Кроме этих абсолютных благ

237

жизни есть еще блага условные и в числе их последнее место занимают благородные, но презренные металлы, — предмет стремления всех людей. И это общечеловеческое стремление, индивидуализировавшись в г. Юркевиче, достигло своего осуществления при чтении им публичных лекций; 10 лекций стоили 10 руб. сер.; одна лекция отдельно 1 р. 50 к. А наконец, кто не знает, как соблазнительна и упоительна слава и как сильно в каждом индивидууме желание славы! Публичные лекции увенчали наконец г. Юркевича и славой; шумные одобрения, бурные рукоплескания, хвалебные клики и возгласы — все это смешалось, переплелось и в виде славного венца украсило чело философа. Кроме того, в славе г. Юркевича была еще

одна особенность, которая делала ее еще более сладостной; его лекции слушали прекрасные, юные создания, цвет человеческого рода⁷⁸. Возьмите самого холодного философа, с самым черствым сердцем, и тот способен наслаждаться идеей красоты, выражающейся в прекрасном женском образе, и он невольно zalюбуется милым юным созданием женского пола. Представьте же себе после этого, какое удовольствие видеть с высоты кафедры целые десятки таких созданий, «начиная с 13-летнего возраста», наблюдать, как искрятся восторгом их прекрасные глазки, обращенные на вас, как из их розовых полуоткрытых уст вылетают похвальные восклицания, адресуемые вам, созерцать, наконец, как они своими маленькими миленькими ручками, затынутыми в нежнейшие перчаточки, хлопают и рукоплещут вам! А г. Юркевич именно все это видел, наблюдал и созерцал; он, так сказать, весь осыпан был розами. Можно ли найти человеческое, даже философское сердце, которое не растаяло бы при виде такой славы. И г. Юркевич действительно растаял; он упоен был своею славой и, в упоении, небрежно бросился на ложе славы, устроенное из роз, — и вдруг вскочил с него с такою поспешностью и неловкостью, которые бы сделали смешным самого обыкновенного смертного и которые солидному философу придали решительно комический вид. О, философ! ты забыл, что роза имеет шипы, и за это забвение ты наказан; они укололи тебя, и ты подскочил, как школьник, и стал невольно делать комические жесты и гримасы. Справедливо древнее изречение, что слава есть дым; от дыма славы угорел г. Юркевич, он вообразил, что он уже окончательно сразил своих противников, подумал, что все, что он ни скажет, будет встречено рукоплесканиями. Вследствие этого он стал обращаться с противниками уж слишком бесцеремонно и стал говорить все, что попало, не заботясь о философской

основательности. Но слава, как и роза, имеет шипы; среди рукоплесканий слышалось шиканье, а потом явилось пророчество, предсказывавшее свистки и свист. Философ, уколотый забытыми им шипами, растерялся, потерял философскую солидность и заговорил вовсе нефилософские речи, и такие, которые едва ли употребляются даже в балаганных нефилософских произведениях.

Тут-то явились на помощь философу друзья его и принялись вырывать шип, вонзившийся в их друга, бросились на анонимное письмо и в особенности на свист, упоминавшийся в нем, и старались выставить последний в неблагоприятном свете. Свист, говорили одни, есть насилие чужого убеждения⁷⁹, стеснение свободы мнения; свист и шиканье, говорили другие, это интимидация, свойственная врагам всякой свободы мнения. «Все наше

298

горе, — рассуждали поклонники философа, — состоит в преобладании у нас элемента внешнего принуждения, в отсутствии уважения к свободе мнения, — и вот молодое поколение является поборником того же самого принудительного принципа, принципа грубой силы, только в другой форме...» т. е. в форме свиста. Вот видите, свист представляется умам друзей философа как орудие насилия, стеснения, принуждения, как форма грубой силы, уничтожающей свободу мнения; бедный свист, как тебя обижают! Это-то понятие о свисте и есть нелепый предрассудок, который, к сожалению, коренится во многих односторонних умах. Когда-то г. Чичерин во время проповеди своего учения слышал свист; этот свист он сам и его единомышленники принимали за подавление свободы мнений. Г. Костомаров тоже когда-то, стоя на кафедре, должен был выслушать свист⁸⁰; и по этому поводу многие

напали на свист как на выражение нетерпимости и неуважения к свободе мнений. Удивительное ослепление! Ужели слишком много нужно проницательности, чтобы понять, что свист есть орудие невинное, безвредное, есть сила, так сказать, эфирная, окрыляющая свободу, даже неспособная к тому, чтобы можно было употребить ее для насилия и стеснения, что во всяком случае он имеет столько же почетного значения и столько же высоких неотъемлемых прав, как рукоплескания и как все вообще другие способы выражения человеческих мыслей, чувствований и настроений, как слово, смех, плач, восклицания и вздохи. Для доказательства этой мысли обратимся снова к истории с г. Юркевичем.

Г. Юркевич решился распродать часть своего философского света, так сказать, часть светильного газа, добытого им, подобно тому, как в Москве развозят и распродают материальный газ. «Нанявсь — як продавсь», говорит пословица, вероятно известная г. Юркевичу. Каждый слушатель каждую лекцию покупает у него философии на полтора целковых или с уступкой на целковый; если отпущенный товар хорош, если купленная философия удовлетворяет слушателя, то слушатель благодарит философа и свою благодарность высказывает одобрениями и рукоплесканиями; если же, заплативши деньги, слушатель получает философию дурного качества или вообще не удовлетворяющую его, то естественно в нем рождается неудовольствие на философа и он высказывает свое неудовольствие шиканьем и свистом. Вы скажете, что философия хороша, что свистать не следовало; на это свистящий ответит вам: это вы так говорите, что она хороша, а по-моему она дурна, и я ею недоволен; вследствие этого я и высказываю свое мнение и свое неудовольствие, т. е. свищу. Даже человек, ослепленный предрассудками насчет свиста, должен согласиться, что в настоящем случае

свист есть дело законное и рациональное, не есть стеснение чужого мнения, просто выражение мнения собственного. Представьте себе, что вместо шиканья часть слушателей г. Юркевича подняла бы плач и рев, и вместо того, чтобы заливаться веселым свистом, стала бы заливаться горькими слезами, — ужели бы вы стали говорить, что плач есть насилие чужого убеждения, стеснение свободы мнения, что он есть интимидация, грубая сила и т. д.? Как же вы можете говорить это о свисте, который стоит в одной категории с плачем и, подобно последнему, служит внешним выражением душевного настроения? Свист есть то же самое, что слово, есть настоящее

299

слово, только выражаемое не членораздельными звуками; об лекциях г. Юркевича можно рассуждать и говорить как угодно; ни одна человеческая голова, правильно устроенная, не скажет, что этот говор есть насилие убеждения, стеснение свободы мнения; тем удивительнее, что находятся даже почтенные человеческие головы, которые свист — то же слово — называют насилием и стеснением, а рукоплескания — делом невинным и законным. Но, скажите на милость, что почтеннее и возвышеннее — звук ли, производимый губами и дуновением человеческих уст, т. е. свист, — или звук, производимый шлепаньем рук одна об другую? Уж если не давать преимущества ни одному из них, то нужно согласиться, что они равны и равноправны. Вообще мысль о том, что свист есть орудие, так сказать, духовное, не только не стесняющее свободы, но даже содействующее ей, до того наглядна и очевидна, что ее как-то странно и доказывать; доказывается она собственно потому, что ее не

понимают московские философы, их друзья и единомышленники.

Из сферы науки перенесемся в область искусства. Выходят на сцену актеры и актрисы, певицы и певцы, танцоры и танцовщицы; если все эти субъекты хорошо выполняют сценические функции, им рукоплещут; если же дурно, им шикают и свищут. И с тех пор, как существуют в мире театральные и оперные сцены, не находилось ни одного человека столь бессмысленного, который бы вздумал утверждать, что свист есть насилие таланта, стеснение свободы сценического искусства, грубая сила и принудительный принцип. Правда, и свист бывает иногда принудителен, но принудительность его разумна, не стесняет свободы и, собственно говоря, не есть принудительность. Тамберлик выводит ут–диез, и все ему рукоплещут; Кравцов тоже вывел однажды ут–диез, и его освистали. Если бы Кравцов имел о свисте такое же одностороннее понятие, как московские философы, то он сказал бы, что свист, раздавшийся по поводу его ут–диеза, есть насилие, принуждение, деспотизм, стеснение его свободы. Затем поступил бы на сцену, стал бы выводить постоянно ут–диез и зато постоянно слышал бы свист. Но Кравцов был разумнее московских философов, по крайней мере относительно свиста; *принужденный* свистом, он ушел со сцены, скрылся в неизвестности, не произнеши ни одного слова укора на свист. Потщитесь, московские философы, подражать этому примеру! Лагруа⁸¹ пела и пожинала рукоплескания; но какими–то неведомыми судьбами голос ее испортился, и ее освистали. Но и она была разумнее московских философов, не стала жаловаться на насилие и деспотизм свиста; но, *принужденная* свистом, ушла со сцены и пребывала в неизвестности до тех пор, пока не поправился ее голос. Потщитесь, московские философы, подражать и этому высокому примеру! Теперь

возвратимся снова в область науки. Публичная кафедра — это сцена; философ, читающий публичные лекции, — это актер или певец; хорошо он читает — ему рукоплещут, дурно — ему свищут; и нужна особенная московская своеобразность мысли, чтобы представлять здесь свист в виде орудия, подавляющего свободу мнений. Пробегите мысленно все сферы, все области, где одна личность или несколько их являются персонально перед публикой с тем, чтобы наставить, или усладить, или потешить ее, и вы увидите, что везде об руку с рукоплесканиями идет и свист, и что никто и никогда не называл

300

свиста насилием и грубой силой. Даже в парламентах, великих и, говорят, ужасно благодетельных учреждениях, тоже раздаются шиканья и свист, называемые на парламентском языке бурным неодобрением.

После таких очевидных доказательств можно надеяться, что и в уме московских философов исчезнет предрассудок относительно свиста, что свист не есть антисвободное орудие, что он сила духовная, заслуживающая всякого уважения, что он имеет право гражданства во всех великих областях человеческой деятельности. (А кстати: читают ли «Свисток» московские философы, их друзья и почитатели?) Есть, правда, одно возражение против этой мысли, именно то, что свист употребляется городовыми хожалыми. Правда; но он все-таки есть лучшее из орудий, употребляемых ими; притом это, говорят, взято с иностранного. А главное, такое же возражение можно привести и против рукоплесканий, на которые так падки московские философы; сколько на всем пространстве нашего обширного отечества совершается рукоплесканий по русским рожам и даже по русским

лицам! Однако же на этом основании никто не вооружается против рукоплесканий вообще. Это ведь аксиома, что злоупотребление ничего не говорит против употребления. В настоящем случае перед московскими философами защищается свист вообще, свист в смысле абсолютном, а не злоупотребления свистом.

Затем мы переходим к частному вопросу о том, имел ли право свист явиться на философские лекции г. Юркевича, и смело отвечаем на этот вопрос утвердительно. Г. Юркевич сам признал за своими слушателями право судить и высказывать свои суждения о его лекциях. Слушатели, довольные лекциями, громко высказывали свое одобрение, рукоплескали, и г. Юркевич принимал и признавал рукоплескания. Естественно после этого, что и недовольные лекциями так же точно имели право высказывать свое недовольствие, шикать и свистать, и свист был здесь не стеснением свободы мнений г. Юркевича, а правом его слушателей, свободным выражением их мнений. Было бы в высшей степени неразумно и самоуправно требовать, чтобы слушатели только восхваляли читающего, рукоплескали ему и не смели обнаружить свистом своего неодобрения. Если вам не хочется слушать свиста, тогда устраните из вашей аудитории и рукоплескания, потому что по вечному закону правды рукоплескания и свист нераздельно соединены между собою и имеют одинаковые права; где раздаются первые, там и последний имеет право раздаваться. В этом отношении официальные аудитории очень последовательны; они не любят свиста, в них он строго воспрещен; но так же строго воспрещены и рукоплескания. Официальные аудитории понимают глубокую истину, что рукоплескания невозможны без свиста и не разлучны с ним. Аудитория г. Юркевича была не официальная, она допускала рукоплескания; с какой же стати и на каком

разумном основании она хотела воспретить свист? О философ! ты опять забыл, что роза имеет шипы и что рукоплескания невозможны без свиста. Твои защитники тоже забыли эту истину и вследствие этого стали оскорблять величие свиста и клеветать на него как на грубую силу и насилие. Но им прощаются оскорбления и клеветы, очевидно взведенные ими на свист по неведению.

Остается разъяснить еще один и последний пункт в предрассудке насчет свиста. Говорят, свистом грозили г. Юркевичу, свист есть угроза, интимидация.

301

Но, почтенные москвичи, что ж это за угроза свист? и разве же можно бояться такой угрозы, как свист? разве можно называть свист интимидацией? Если бы угрожающий вместо свистящей угрозы сказал: я вас за шиворот совлеку с кафедры и повлеку туда, куда Макар телят не гонял, — это было бы угрозой и насилием, если б угроза осуществилась. А свист какая же угроза? «Я вас освищу, милостивый государь»; экая важность, экая угроза! Угрожаемый преспокойно может ответить: свищите, сколько угодно, я вашего свиста не боюсь, он меня не остановит, я надеюсь, он будет заглушен рукоплесканиями. Так отвечал бы всякий разумный человек на угрозы свистом. Но не так поступил наш философ и его друзья. Одно напоминание о свисте раздражило его; он вышел из себя и в раздражении наговорил речей, значение которых ничтожно и даже грязно. Друзья его тоже пришли в азарт, стали кричать о насилии, о стеснении свободы, о грубой силе и т. д. А между тем, углубляясь в сущность занимающей нас истории, мы приходим к заключению, что насилие было скорей на стороне г. Юркевича, чем на стороне свиста, что на

священной высоте кафедры было употреблено оружие гораздо хуже и грубее, чем свист. Недовольных лекциями было довольно; может статься, что недовольство их было неосновательно, но несомненно, что заключительные речи профессора по поводу письма были нехороши и заслуживали самого энергического неодобрения; конечно, им рукоплескали дамы и редактор почтенной газеты, но они все-таки были нехороши, их следовало освистать, и наверное были желавшие освистать. Что же сделала сторона г. Юркевича? ей следовало бы утихнуть, хранить молчание, дать желавшим свистать полную свободу высказать свое мнение, не стеснять и не подавлять их свиста, который действительно был здесь необходим. А она между тем стала рукоплескать, обнаружила деспотическую замашку подавить, заглушить свист, стеснить чужое мнение и отнять у него возможность высказаться посредством свиста. Вот видите, московские философы, в вашей истории свист не был грубой силой и насилием, а напротив, он был жертвой насилия и угнетения со стороны ваших рукоплесканий. Но это еще ничего; если свист изнасилован был рукоплесканиями, значит он сам виноват, значит он был слаб. Посмотрим, какое еще оружие употребляла сторона, враждебная свисту, чем она действовала против анонимного письма. Если бы профессор был сторонник свиста, он поднял бы письмо на воздух, освистал его со всех четырех сторон, тем более, что в письме были стороны, которые можно было освистать отлично, и потом даже с видимым благоговением положил бы его на кафедру; публика ответила бы свистящим хором на свист профессора, и история окончилась бы великолепно. Но профессор возгнушался свистом, и какое же орудие он употребил вместо свиста? Он спрятал письмо в карман с целью сделать из него известное «пригодное употребление». О философ! ты забыл, что письмо написано

человеком, твоим ближним, ты забыл, что оно было представителем человеческой личности, ты забыл наконец, что в нем высказывалось человеческое мнение, дорогое убеждение! Ты все это забыл и святотатственно поправил, сделав из письма известное употребление! И после этого люди, с особенным усердием рукоплескавшие «этой грязной плоскости», осмеливаются читать другим поучения об уважении человеческой личности и чужого убеждения, осмеливаются произносить хулу на

302

свист, называть его грубой силой, стеснением свободы и т. д. Скажите в самом деле, что лучше или хуже — свист ли или оружие, употребленное философом? Вот то-то и есть; противники свиста позволяют себе всякие пошлости и плоскости и в то же время лицемерно прикидываются людьми серьезными, проникнутыми уважением ко всему; но как только раздается свист, разоблачающий их лицемерие, они выступают с жалобами на свист как на грубую силу, на насилие и стеснение, как на недостаток уважения к личности, к чужому мнению; а у них-то самих этого уважения куда как много! Вот вам и правда человеческая и, в частности, правда философская и московская!

История с г. Юркевичем кончена; «Свисток» выводит из нее следующую мораль: все наше горе состоит именно в преобладании у нас, в жизни общественной, элемента рукоплесканий, в отсутствии всеобщего уважения к свисту; русская жизнь много терпит от того, что права свиста не признаны формально, что ему нет ходу, что он не может раздаваться тогда, как ему непременно следовало бы раздаться. Просим читателей принимать эту мораль в

самом серьезном смысле и углубиться в нее. В самом деле, у нас все ищут для себя только роз и каждый принимается за дело с тем только, чтобы пожать розы; малейший шипок уколет его, он сейчас же злится и беснуется и дает делу какое угодно, хоть самое бесчестное употребление. Люди, пользующиеся всеми благами жизни на чужой счет, не довольствуются этим; им нужна еще слава, подавай им рукоплескания. Известные сферы людей до костей пропитаны неразумным желанием рукоплесканий; каждая дрянь в этой сфере за всякую мелочь, даже за всякую мерзость и несправедливость требует себе похвал и рукоплесканий; что бы она ни сделала, но рукоплескания давай ей непременно. «А свисту не хочешь ли, дрянь ты этакая!» — подобных слов вы не услышите во веки веков. Комбинация обстоятельств расположилась таким образом, что вы должны восхвалять и рукоплескать до болезни, до поту и крови, а малейший свист с вашей стороны механикою обстоятельств будет заглушен и вы сами будете приведены или к молчанию, или к нулю, т. е. к совершенному небытию. Под влиянием этой искусной механики рукоплескания раздаются везде, куда вы ни обратите взор свой.